

Елена Михайлова

Дочь волхва



Елена Михайлова

Дочь волхва

<https://litres.ru/74489629>

SelfPub; 2026

Аннотация

Она была дочерью волхва. В ней спала сила, которую боялись боги. Он учил её молчать. Он думал, что спасает. Но предательство — это ключ. И когда дар проснулся, сгорело всё. Эта книга о том, что человека можно сломать. А сломанный человек может сломать весь мир.

Содержание

Глава 1	4
Глава 2	8
Глава 3	16
Глава 4	23
Конец ознакомительного фрагмента.	29

Дочь волхва

Глава 1

Она родилась в месяц жатвы, когда степь становится золотой, а ночи — длинными и тёплыми. В ту ночь над городищем стояла луна — тонкая, как серп, но яркая, будто кто-то держал её над миром и не давал упасть. Люди потом говорили: не к добру. Волхв молчал. Боги, что смотрели за ней с рождения, были не из светлых. Не Дажьбог, что дарует тепло. Не Перун, что бьёт молнией. Не Мокошь, что прядет судьбу. Её обступили те, о ком не говорят у костра. Мара — богиня смерти и зимы, что дышит холодом. Чернобог — тот, кто сидит в тени и ждёт. И ещё кто-то. Тот, чьего имени волхв не произносил вслух. Тот, кто не имеет лица. Волхв понял всё сразу. В первую ночь, когда младенец не заплакал, а открыл глаза и посмотрел на него. Просто посмотрел. Взгляд был не детский. Взгляд был — знающий. Он вышел во двор и упал на колени. Не перед богами. Перед тем, что было внутри его дочери. Он молился всю ночь. Не о милости. О том, чтобы она никогда не поняла, кто она. Чтобы сила, что спала в ней, осталась сном. Чтобы никогда не проснулась. Он просил у Мары забрать её. Просил у Чернобога не забирать. Просил у того, кто без имени, не смотреть на неё. Он говорил с огнём, с землёй, с ветром. И они молчали. Так же, как молчал он

сам, когда умерла её мать. Наутро он вернулся в дом. Взял её на руки. И сказал тихо, так, что слышал только ветер:— Я не дам тебе проснуться. Даже если придётся убить тебя. Он не убил. Не смог. Вместо этого он стал учить её молчать. Смотреть на огонь и не моргать. Слушать тишину так, чтобы не слышать голосов. Он растил её в тишине, как растили бы зверя, которого нельзя выпускать. Днём она была как все. Ночью — как все, кто не спит. Но внутри неё спало что-то, чего не касались ни годы, ни молитвы. Шли годы. Она росла. И с каждым годом волхв видел, как дар набирает силу. Девочка не знала об этом. Она просто жила. Играла с другими детьми. Смеялась. Плела венки. Но иногда, по ночам, она просыпалась от странного чувства. Будто кто-то зовёт её. Будто что-то ждёт. Она выходила во двор, садилась на землю и слушала. И земля отвечала. Не словами. Образами. Она видела то, чего не было. То, что будет. То, что могло бы быть. И это пугало её. Не потому, что было страшно. А потому, что она не понимала, откуда это идёт. Она спрашивала отца. Но он молчал. Только смотрел на неё так, будто видел насквозь. Будто знал всё. И это было хуже любых слов. Она пыталась найти себя в людях. В подругах, которые хихикали над парнями. В бабках, которые шептались о богах. Но чем больше она искала, тем яснее понимала: её место — не среди них. И не рядом с отцом. А где-то посередине. В том самом огне, который он запрещал. Она не знала, что спит в ней. Не знала, что её рождение было не благословением, а проклятием. Не

знала, что однажды проснётся. И когда проснётся — сгорит всё. Степь. Городище. Люди. И те, кто её любит. И те, кого полюбит она. Всё. Но пока она спала. И отец сторожил её сон. Каждую ночь. До самого утра. Пока хватало сил. Пока хватало веры. Пока не пришёл тот, кто разбудил.

А пока — текли годы. Медленно, как смола по стволу. Ясна росла, и с ней росло то, чего она не понимала. Иногда, сидя у костра, она ловила на себе взгляд отца. Он смотрел не на неё, а будто сквозь. Будто видел то, что было позади неё. И тогда она оборачивалась. Но там была только тьма.

Она не боялась тьмы. Она боялась того, что чувствовала в себе. Иногда её руки сами тянулись к огню. Не чтобы обжечься, а чтобы коснуться. Огонь не жёг её. Он лизал пальцы, как ручной зверь. И это было приятно. Слишком приятно. Она отдёргивала руку и прятала её за спину, будто кто-то мог увидеть. Но никто не видел. Кроме отца. А он молчал.

По ночам ей снились сны. Не те, что сбываются. Другие. В них она стояла посреди степи, и трава горела под её ногами. Не от огня. От неё самой. Она просыпалась в холодном поту и долго смотрела в потолок. Потом вставала, выходила во двор, садилась на землю и просила у луны прощения. За то, чего не сделала. За то, что могла бы сделать.

Луна молчала. Как молчали боги. Как молчал отец.

Однажды она спросила его напрямую. Впервые за много лет. Прямо, без обиняков:

— Отец. Кто я на самом деле?

Он долго не отвечал. Смотрел в огонь. Потом поднял глаза. И сказал всего одно слово:

— Смерть.

Глава 2

Слово «смерть» повисло в воздухе, как пепел после костра, и Ясна ждала, что отец скажет ещё что-то — хоть слово, хоть полслова, хоть просто вздохнёт, давая понять, что сам не верит в то, что произнёс. Но он стоял, смотрел на неё, и в глазах у него была не жалость и не отчаяние, а какая-то усталая твёрдость, будто он наконец-то выговорил то, что годами держал за зубами, и теперь уже не взять назад. Она не стала ждать. Сбежала из дома, будто от удара. Села на крыльцо, прижалась спиной к косяку, чтобы почувствовать, что дерево настоящее, твёрдое, не сон. Земля под ногами была холодной, хотя день стоял тёплый, из тех, когда солнце ещё греет, но уже без прежней наглости, по-осеннему сдержанно. Ясна смотрела на свои руки — обычные руки, тонкие, с обкусанными ногтями, с мозолью на среднем пальце от прялки. У смерти не бывает мозолей. Смерть не мёрзнет, не вздрагивает от скрипа двери, не боится темноты. А она боялась. Всегда боялась, только старалась не показывать. Мать она не помнила. Совсем. Ни голоса, ни запаха, ни того, как её звали ласково, если звали. Только имя — Бажена. И ещё гребень. Костяной, потемневший от времени, с резьбой, которую пальцы уже почти стёрли, так что узор стал просто сетью тонких линий, будто трещины на льду. Он лежал на полке, завёрнутый в старую тряпицу, и отец к нему

не прикасался. Никогда. Ясна нашла его года в три, потянула к себе — просто потому, что он был гладкий, приятный на ощупь, и пах чем-то знакомым, хотя она и не могла сказать чем. Отец тогда ударил её по рукам. Не сильно, но резко — так бьют, чтобы запомнилось. Она выронила гребень, и он упал на земляной пол с глухим звуком, будто внутри у него было что-то тяжёлое. Отец поднял его, завернул обратно и убрал на место. Больше она его не трогала. Но смотрела. Сидела под полкой, пока глаза не начинали слезиться от темноты, и думала: мама держала его. Мама расчёсывала волосы и смотрела, наверное, в воду, как в зеркало. Может, улыбалась. А может, нет. Сны про мать приходили не каждую ночь. Иногда раз в месяц, иногда чаще, а потом долго не являлись, и Ясна даже начинала надеяться, что больше не придут. Но они возвращались. Бажена во сне была не тенью и не воспоминанием — она была настоящей, живой, только размытой, как бывает, когда смотришь на кого-то сквозь пар. Лица Ясна никогда не видела — оно будто ускользало, пряталось за рябью, как прячется рыба в мутной воде. Мать не говорила слов, которые можно было бы запомнить и потом повторить. Но она показывала. В этих снах всегда было движение: река, текущая не туда, куда должна; поле, где трава не росла, а будто стелилась по земле, как дым; человек на коленях, лицо которого Ясна не могла разглядеть, но чувствовала, что он о чём-то умоляет. И в конце — огонь. Не весёлый, не домашний, а чужой, тяжёлый, будто он не горел, а давил, как

камень. Просыпаясь, Ясна долго лежала, глядя в потолок, и пыталась удержать хоть одну деталь, хоть один запах, хоть одно слово. Но сны рассыпались, как песок сквозь пальцы, и оставалось только чувство: мать хотела что-то сказать, но не могла. Или не имела права. Отец о Бажене не рассказывал. Если Ясна спрашивала, он отворачивался, будто искал что-то в углу, или начинал возиться с очагом, подкидывая дрова, хотя огонь и так горел ровно. Однажды, когда ей было лет пять, она спросила в третий раз подряд: «А какая она была, мама?» Отец резко обернулся, и в его взгляде было столько боли и злости сразу, что она поняла: спрашивать больше нельзя. Не потому что он рассердится, а потому что сделает себе больно. И она перестала. Но не забыла. Бажена была ведуньей — это Ясна узнала не от отца, а от бабки Марфы, что жила на краю городища и знала всё про всех. Марфа как-то, проходя мимо, остановилась, посмотрела на Ясну долгим взглядом и сказала: «Ты, девка, в мать пошла. Бажена тоже чуяла лишнее. Да только чуять — не значит уметь с этим жить». И пошла дальше, не дожидаясь ответа. Ясна тогда не поняла, что значит «чуяла лишнее», но запомнила. А потом был день, когда она поняла. Ей было семь. Может, шесть — она не помнила точно. Помнила только, что стояло лето, жаркое, душное, и отец ушёл в лес — за травами, за кореньями, за чем-то, что он всегда приносил оттуда. Она осталась одна. Сидела у забора, на траве, и смотрела на дорогу. Просто смотрела. Ничего не делала. И тут услышала

смех. За забором, на дороге, что вела через городище, играли дети. Мальчишки и девчонки. Они бегали, кричали, толкались, хохотали так, что, казалось, весь мир слышит их. Ясна подтянула колени к груди и стала смотреть. Она не завидовала — не умела ещё завидовать. Она просто смотрела. Как они играют. Как им весело. Как они вместе. А она — одна. Всегда одна. За забором. Среди них был Борич. Она не знала тогда, кто он — просто мальчик. Темноволосый. Чуть старше её. Громче всех оравший. Он заметил её. Остановился. Посмотрел. А потом сказал что-то своим друзьям, и они все повернулись к ней. И засмеялись. Громче, чем прежде. Показывали пальцами. Кричали что-то. Ясна не разобрала слов — кровь ударила в уши. Но поняла. Поняла, что они смеются над ней. Над той, что сидит за забором. Над той, что одна. И тогда что-то в ней — то самое, что спало, что ждало, что сидело в ней, как зверь в берлоге, — шевельнулось. Не проснулось. Пока. Но шевельнулось. И потянулось наружу. Не к нему. К дереву. К старой иве, что росла у дороги, чуть в стороне. К её ветвям. К её соку. К её жизни. Оно потянулось — и дерево ответило. Ветка, толстая, тяжёлая, качнулась. Сама. Без ветра. И хлестнула. По лицу. Прямо по щеке. От виска до подбородка. Борич закричал и схватился за лицо, а между пальцами у него проступила кровь — настоящая, тёмная, и он завыл не от боли, а от страха, и побежал, а за ним остальные, а Ясна осталась сидеть и смотрела им вслед, и сначала не чувствовала ничего — пустоту, глухую,

мёртвую, будто внутри выключили свет, — а потом её ударило под дых так, что она не смогла вдохнуть. Это сделала она. Она. Не ветер. Не случай. Она захотела — и дерево ответило. Она потянулась — и оно хлестнуло. По его лицу. По живому. По человеку. Кровь. Настоящая. Из-за неё. Из-за того, что живёт в ней. Что смотрит из неё. Что ждёт. Она вскочила и побежала, не за ними, а от них, от себя, в дом, в угол, за печь, села, подтянула колени к груди, обхватила руками и замерла, глаза открыты, слишком широко, она смотрела в стену, но видела не стену, а его лицо, кровь, шрам, который останется навсегда, из-за неё. Её трясло мелко и противно, как в лихорадке, зубы стучали, руки дрожали, она вцепилась в свои плечи ногтями до боли, чтобы хоть что-то чувствовать, кроме этого, этого ужаса, который шёл изнутри, из того места, где было тепло, а теперь жгло ледяным, она не хотела, не хотела этого, не просила, не звала, оно само, само, но это было не оправдание, потому что оно вышло и сделало, и будет делать снова и снова, и она не сможет остановить, не знает как, не умеет, и от этого страх такой, что дышать больно, такой, что хочется исчезнуть, прямо сейчас, в стену, в землю, в никуда, лишь бы не быть, лишь бы не чувствовать, лишь бы это, то, что в ней, ушло навсегда. Вечером пришёл отец, он уже знал, конечно, знал, в городище не бывает тайн, он вошёл, увидел её, в углу, за печью, сжавшуюся, дрожащую, остановился, посмотрел долго и молча, а потом подошёл и сел рядом, на пол, не обнял, не погладил, просто сел

рядом и тоже замолчал надолго. Она ждала, что он закричит, что ударит, что накажет, как всегда, но он молчал, и от этого молчания было хуже, потому что она знала: он не злится, он боится, за неё, и это было страшнее. Потом он заговорил — тихо, так тихо, что ей пришлось напрячься, чтобы разобрать слова. — Ты понимаешь, что сделала? Она кивнула, не поднимая глаз, не отрываясь от стены. — Ты понимаешь, что теперь будет? Она снова кивнула, хотя не понимала, не понимала, что теперь будет, но знала: что-то, что-то плохое, что-то, чего она не хотела. — Они уже знают, — сказал он. — Все. Они видели. Они расскажут. И тогда всё. Тогда нас не оставят. Тогда придут. — Я не хотела, — прошептала она, и голос сорвался. — Я не хотела, отец. Оно само. Оно вышло. Я не звала. Правда. Я не... Он поднял руку — не для удара, просто поднял, — и она замолчала, сжалась ещё сильнее, если это было возможно. — Не хотела, — повторил он, и голос был глухой, усталый. — Не хотела. А оно вышло. И будет выходить. Снова и снова. Пока ты не научишься держать. Пока не научишься молчать. Пока не научишься не чувствовать. — Я не хочу, — сказала она, и это было самое честное, что она сказала за всю жизнь. — Я не хочу этого. Не хочу. Забери. Пожалуйста. Забери это. Я не хочу быть такой. Я не хочу... не хочу... Она не договорила. Слёзы пошли наконец, долго, горячо, мокро, она плакала впервые за долгое время при отце, и он не утешал, не обнимал, просто сидел рядом и ждал, пока она выплечется, пока не останется пусто, пока

не станет тихо. А потом сказал:— Я знаю. Знаю, что не хочешь. Но оно есть. Оно в тебе. И ты должна научиться с этим жить. Или...Он не договорил, но она поняла. Или умрёшь. Или убьют. Или убьёшь. Или всё. Всё сразу. Он встал, пошёл к огню, сел, сгорбился и замолчал на всю ночь, а она осталась в углу, за печью, смотреть в стену и чувствовать, как что-то внутри неё, то самое, отталкивает её от неё самой, как будто оно чужое, как будто оно не её, как будто оно враг, который живёт в ней и ждёт и не уйдёт никогда. А утром она вышла во двор и увидела, что соседка, та самая, с клюкой, стоит у забора, смотрит на неё, и в этом взгляде не просто страх, а ужас, как будто она видит не девочку, а что-то другое, что-то, что живёт в девочке, что-то, что смотрит из неё и ждёт. Соседка отшатнулась, вскинула руку, сложила пальцы в рогатом знаке — от сглаза, от порчи, от того, чего нельзя называть, — и прошептала: «Чур меня. Чур меня. Чур меня». Развернулась и ушла быстро, почти побежала, не оглядываясь, не оборачиваясь, чтобы не увидеть, не встретиться взглядом, не впустить. А Ясна осталась стоять, смотреть ей вслед и чувствовать, как что-то внутри неё, то самое, тянется к соседке, к её страху, к её спине, и хочет, хочет выйти, хочет сделать, хочет... Она зажмурилась изо всех сил, сжала кулаки до боли, до хруста, и прошептала — не вслух, про себя, в самое нутро, туда, где оно сидело:— Нет. Не выйдешь. Не дам. И оно затихло. Пока. Но она знала: оно не ушло. Оно просто ждёт. Как ждало всегда. Как будет ждать. Пока она

не сдастся. Или пока не умрёт.

Глава 3

Шли годы. Ясна не заметила, как они прошли — как вода сквозь пальцы, как дым над костром. Только что была девочкой с ободранными коленками и вечно сбитыми локтями, а теперь — девка на выданье. Высокая, тонкая в кости, но не худая — жилистая, крепкая, как молодая ива. Волосы тёмные, длинные, ниже пояса, вечно лезли в лицо. Она заправляла их за ухо, и они тут же выбивались снова. Глаза — тёмные, глубокие, и взрослые мужики отводили взгляд, когда она смотрела прямо, хотя сами не понимали почему. Что-то было в этом взгляде. Что-то, от чего хотелось отступить на шаг. Или два. Или сложить пальцы в рогатом знаке — от сглаза, от порчи, от того, чего нельзя называть. Хотя никто не знал, от чего именно защищается. Просто чувствовали: лучше не касаться. Лучше обойти. Лучше сделать вид, что не заметил.

Она выросла в тишине. В доме на краю городища, у самой кромки леса, где дальше — только деревья, старые, как мир, да бурелом, через который не пройти без топора. Отец по-прежнему не выпускал её никуда: ни за околицу, ни к реке с девками, ни на гулянья, куда по осени собирались парни и девки, чтобы песни петь и друг на друга смотреть. Он не запрещал прямо. Просто смотрел так, что она сама не шла. А потом и смотреть перестал — силы уходили, годы брали

своё. Он просто спал. А она просто была. Рядом. В доме. В клетке, которую он построил для неё. И для себя.

А она и не рвалась. Сначала. Пока не поняла, что стены давят. Что дверь, которая всегда закрыта, — это не защита. Что она задыхается. Что ей нужно небо. Не через окно. А над головой. Полностью. До самого горизонта.

Ей было семнадцать, когда она начала убегать.

Первый раз — в июне. Ночь тёплая, душная, звёзды висят низко, как спелые яблоки, и луна — полная, круглая, светит так, что тени чёткие, будто вырезанные. Отец заснул рано — он теперь засыпал рано. Она подождала, пока его дыхание станет ровным, тяжёлым, глубоким. Потом встала. Тихо. Босиком. Половицы не скрипнули — она знала, на какие наступать. Вышла. Дверь на засов — она знала, как открыть, чтобы не щёлкнуло. И оказалась во дворе. А потом — за двором. А потом — на тропе, что вела через лес к реке.

Она не помнила дороги. Помнила только, как вышла на берег. Как увидела воду — тёмную, спокойную, с лунной дорожкой поперёк. Как скинула рубаху. Как вошла. Вода была тёплая, прогрелась за день, и она шла дальше — по пояс, по грудь, по шею, — и замерла. Смотрела на луну. А луна смотрела на неё.

Она не знала, сколько простояла. Может, час. Может, больше. Она просто была. В воде. Под небом. Без стен. Без отца. Без взглядов. Без страха. И впервые за долгое время ей стало легко. Не весело, не радостно — просто легко. Будто

что-то внутри, что всегда сжималось, чуть-чуть отпустило.

С тех пор она убегала каждую ночь. Или почти каждую. Когда отец спал — а он теперь спал крепко, — она вставала, выходила, шла к реке. Иногда просто сидела на берегу. Иногда заходила в воду. Иногда ложилась на спину и смотрела в небо, и вода держала её, и небо было сверху, и больше ничего не было — только она, вода и луна.

Она говорила с луной. Не вслух — про себя. Но иногда и вслух, шёпотом, когда вокруг совсем тихо. Спрашивала: «Ты меня видишь?», «Ты знаешь, кто я?», «Ты меня не боишься?» Луна не отвечала словами, но Ясна чувствовала ответ — не мыслью, а телом, кожей, чем-то глубоким, что сидело в животе и в груди. Луна не боялась. Луна принимала. Луна была — своя.

Иногда она видела сны наяву. Не спала, а видела — картинки всплывали перед глазами, будто из воды. Степь. Трава горит. Люди бегут. Кричат. И она стоит в центре. И не может остановиться. Ясна моргала — картинки исчезали, и оставалась только река, луна и её собственное дыхание.

А потом её начало тянуть в лес.

Сначала слабо — как зов, который слышишь краем уха и не понимаешь, откуда он. Потом сильнее. Как голод. Как жажда. Что-то в чаще звало её. Не голосом — чувством. Будто там, среди деревьев, было что-то, что ждало. Давно ждало. Всю жизнь.

Однажды ночью, когда луна была особенно яркой, а тяга

— особенно сильной, она пошла. Не к реке. В лес. В чащу. Туда, где не было троп. Где бурелом и тьма. Она шла босиком, и ноги не чувствовали ни корней, ни камней, ни хвои — будто что-то вело её за руку. Через лес. К месту, которого она не знала, но которое знало её.

И вышла на поляну.

Поляна была круглая, как блюдо, и по краям её стояли идолы. Каменные. Высокие. Тёмные. Они смотрели. Все сразу. Не глазами — камнем. Но она чувствовала взгляд. Тяжёлый. Древний. Будто эти идолы стояли здесь до всего — до городища, до людей, до леса. И будут стоять после.

Она вошла в круг. Медленно. Оглядываясь. Идолы молчали. Но она слышала что-то — не ушами, а костями, нутром. Что-то вроде гула. Или дыхания. Или сердцебиения. Не её. Не человеческого.

Ясна подошла к самому высокому. Он был вырезан из тёмного камня, но камень был похож на дерево — чёрный, как обугленный ствол. Глаза — из чёрного камня, отполированного до блеска. Она видела в них своё отражение: маленькое, искажённое, но своё.

Она не знала его имени. Но что-то внутри подсказало: Чернобог. Бог Нави. Тот, кто сидит в тени и ждёт.

Она подняла руку. Медленно. Будто во сне. И коснулась камня.

И в ту же секунду её ударило.

Не больно — сильно. Будто что-то вошло в неё — через

ладонь, через кожу, через кость — и вывернуло наизнанку. Она увидела. Не глазами — всем собой. Будто она стала этим видением.

Она стояла посреди степи. Под ногами горела трава. Не от огня — от неё. Пламя шло из её рук. Из её глаз. Из её крика. И она не могла остановиться. Не хотела. И не могла.

Горело городище. Дома. Крыши. Заборы. Люди бежали. Кричали. Падали. А она шла по улице. Медленно. И огонь шёл с ней — впереди, рядом, внутри.

Перед ней стоял парень. Молодой. Темноволосый. Со шрамом на лице — от виска до подбородка. Он смотрел на неё. И в глазах его был ужас — такой, от которого хочется кричать. Он упал на колени. Пополз к ней. Схватил подол её платья. Прижался губами к ткани. Целовал. Умолял:

— Не убивай. Пожалуйста. Прости. Я не хотел. Прости меня. Не убивай.

А она смотрела. И чувствовала — ничего. Пустоту. Глухую. Мёртвую. Будто внутри выключили свет. Она подняла руку. И огонь — зелёный, не красный, не жёлтый, а зелёный, как болотный газ, как гниль, как то, что не должно гореть, но горит, — вышел из её ладони. Пошёл к нему. И он закричал. Один раз. Коротко. А потом замолчал. Навсегда.

Она смотрела. И ничего не чувствовала. И это было самое страшное — не то, что она сделала. А то, что ей было всё равно.

Видение оборвалось. Резко. Будто кто-то дёрнул за нитку.

Она стояла в капище. Рука на камне. Камень был холодный. Ледяной. Ясна отдёргнула руку, отшатнулась, упала на спину, на землю. И лежала. Смотрела в небо. А небо было чёрное. Без звёзд. Без луны. Пустое.

Она вскочила. Побежала. Не разбирая дороги. Через лес. Через бурелом. Через тьму. Ветки хлестали по лицу, но она не чувствовала. Бежала от капища. От идолов. От себя. К дому. К отцу. К стенам. К клетке. Лишь бы туда. Лишь бы не здесь. Лишь бы не с этим.

Влетела в дом. Заперла дверь на засов. Села на пол у порога. Прижалась спиной к двери. И замерла. Дышала часто, рвано. Кровь стучала в ушах, в висках, в пальцах — везде.

Она не спала всю ночь. Сидела у двери. Смотрела в темноту. И ждала. Чего? Сама не знала. Может, что оно вернётся. Может, что уйдёт. Может, что ничего не было. Но знала: было. И будет. И никуда не денется.

Утром отец встал. Увидел её — у двери, бледную, с тёмными кругами под глазами. Он ничего не сказал. Только посмотрел. Долго. И вышел. В лес. Как всегда.

А она осталась. И не выходила. Ни в тот день. Ни на следующий. Ни через неделю. Сидела в доме, у окна, смотрела на лес. И ждала — пока то, что она увидела в капище, не отпустит. Пока не забудется. Пока не станет просто сном.

Но оно не забывалось. Сидело внутри — как заноза, как камень, как то, что нельзя вытащить. И с каждым днём становилось тяжелее. Ясна знала: рано или поздно оно выйдет.

Не сейчас. Потом. Когда она перестанет бояться. Когда перестанет держать. Когда сдастся.

И тогда — всё. Всё, что она видела. Всё, что было в видении. Станет явью.

Глава 4

Она не выходила из дома неделю, может две, сидела у окна, смотрела на лес и ждала — сама не зная чего. Может, что капище отпустит. Может, что видение забудется. Может, что оно вернётся и объяснит. Но оно не возвращалось, и не объясняло, и не отпускало. Отец молчал. Он всегда молчал, но теперь это молчание стало другим — тяжёлым, как сырая земля. Он смотрел на неё и будто ждал чего-то. Чего? Она не знала. Может, что она спросит. Может, что расскажет. Но она не рассказывала, не могла — слова застревали в горле. И он не спрашивал. Так они и сидели — двое молчащих, в одном доме, на краю городища, у самой кромки леса. А потом она не выдержала. Не потому что стало легче, а потому что стало невыносимо. Она должна была понять. Должна была узнать, что это было, что это значит, кто она. И она пошла в капище. Днём, не ночью, при свете — чтобы не бояться, чтобы видеть. Капище встретило её тишиной, такой же, как в тот раз. Идолы стояли по кругу и смотрели. Она вошла в круг, медленно, оглядываясь, подошла к Чернобогу и коснулась. Ничего. Пустота. Она ждала, долго стояла, рука на камне, камень был холодный, но не отзывался, не показывал, не говорил. Она обошла всех идолов по очереди, касалась каждого, ждала. Ничего. Молчание. Глухое, полное, как будто они отвернулись. Как будто сказали: «Ты получи-

ла. Хватит. Дальше — сама». Она вышла из капища разочарованная, злая, испуганная. Вернулась домой. Отец был в лесу. Она легла на лавку, закрыла глаза, но сон не шёл. В голове крутилось одно и то же: идола, камень, видение. Она пролежала до вечера. А когда стемнело и отец заснул, встала. Тихо. Босиком. Через дверь — на этот раз не таясь, всё равно он не проснётся. И пошла к реке. Пришла на берег, села на песок, подтянула колени, смотрела на воду. Луна висела низко, полная, круглая, светила так, что вода казалась серебром. Она заговорила. Вслух. Не шёпотом. Уже не боюсь. — Ты меня слышишь? — спросила она. Луна молчала. — Ты меня видишь? Молчание. — Ты меня знаешь? И снова ничего. Только вода, только ветер, только сверчки. Она ждала. Долго. Очень долго. Но луна не отвечала. Не так, как раньше. Не теплом, не образом, не чувством. Просто светила. Просто была. Далеко. Холодно. Безразлично. Ясна встала, скинула рубаху — медленно, не потому что кто-то смотрел, а потому что хотела почувствовать хоть что-то, — и вошла в воду. Босиком. По щиколотку. По колено. По бедро. Вода была тёплая — день выдался жаркий, и река ещё не успела остыть. Она зашла глубже. По пояс. По грудь. Остановилась. Закрыла глаза. Вода обнимала её. Мягко. Медленно. Как будто руки — большие, тёплые, нежные. Она не знала, что так бывает. Что можно стоять в воде и чувствовать, как она держит, как гладит, как успокаивает. Вода не спрашивала, не требовала, не смотрела. Просто была. И этого было достаточно. О-

на провела рукой по воде, медленно, пальцами, как будто касалась чего-то живого, и вода отвечала — расходилась кругами, возвращалась. Она набрала в ладони, подняла, вода стекала между пальцев, медленно, как время, как жизнь, как всё, что уходит и не возвращается. Она стояла так долго, не двигаясь, просто дыша, просто чувствуя, как вода касается её тела, как луна смотрит на неё, как мир — на секунду — перестаёт быть враждебным. И ей стало хорошо. Тихо. Спокойно. Как будто ничего не было — ни капища, ни видения, ни страха. Только она. Вода. Луна. Она вышла на берег. Медленно. Вода стекала с неё каплями — по коже, по волосам, по рукам. Она стояла на песке, мокрая, голая, и тут услышала шорох. У ивы. Тихо. Но она услышала. Обернулась. Резко. И увидела тень у ствола. Большую. Мужскую. Она замерла. Не прикрылась. Не вскрикнула. Просто стояла. Смотрела. А тень отделилась от дерева и вышла на лунный свет. Борич. Она узнала его сразу. Темноволосый. Чуть старше. Двадцать, может. Шрам на лице — от виска до подбородка. Тот самый. От той ветки. От той ивы. Тот, кого она ранила. Давно. В детстве. Который смеялся над ней. Который показывал пальцем. Который теперь стоял. И смотрел. На неё. Голую. Мокрую. Под луной. Она не двинулась. Не прикрылась. Не убежала. Просто смотрела. И он смотрел. Долго. Молча. А потом отвёл взгляд. Резко. Как будто обжёгся. И сказал — тихо, хрипло, не своим голосом:— Прости. Я не хотел. Я... я не знал, что ты здесь. Я просто... я часто сюда хожу. Ночью.

Один. Думаю. И... я видел тебя. Раньше. Как ты купаешься. Я не подглядывал. Честно. Я просто... смотрел. Издалека. Ты... ты красивая. Под луной. Как будто не настоящая. Как будто из сна. Ясна почувствовала, как кровь прилила к лицу. Раздражение. Острое. Горячее. Он видел её. Раньше. Голую. Не один раз. Смотрел. Издалека. Молчал. И теперь — говорит. Стоит. Улыбается. Как будто это ничего. Как будто это нормально. Как будто она — не человек. А что-то, на что можно смотреть. Украдкой. Ночью. Пока не видит.— Ты... — начала она. Но не нашла слов. И замолчала. И разозлилась ещё больше. На него. На себя. На то, что не может сказать. Что не умеет. Что никогда не училась.— Я не буду смотреть, — сказал он вдруг. И отвернулся. Резко. Она стояла. Голая. Мокрая. Раздражённая. Смущённая. И ещё что-то. Что-то, чего она не хотела признавать. Что-то, что от него. От его слов. От того, что он сказал. «Красивая». Никто ей такого не говорил. И это бесило. Потому что она не хотела это слышать. Особенно от него. Особенно сейчас. Особенно так. Она натянула рубашу. Мокрую. На мокрое тело. Прилипла. К коже. К бёдрам. К груди. Она не поправляла. Не пряталась. Просто надела. И сказала — резко, зло:— Можешь повернуться. И уходить. Я не просила оставаться. Он повернулся. Медленно. Как будто не верил. Посмотрел на неё. Долго. В глаза. Не ниже. В глаза. И это было странно. Непривычно. Никто так на неё не смотрел. Никто не искал её взгляд. Никто не хотел видеть её. А он — хотел. И она это чувствовала. И это бесило

ещё больше. — Ты меня помнишь? — спросил он вдруг. Она кивнула. Помнила. Конечно, помнила. Как он смеялся. Как показывал пальцем. Как она захотела — и дерево ответило. Как кровь. Как шрам. Который теперь навсегда. На его лице. Из-за неё. — Я знаю, что это ты, — сказал он. Тихо. Без злости. Без обвинения. Просто сказал. — Тогда. С ивой. Я знаю, что это была ты. Я не знаю как. Но знаю. И знаешь что? Я не злюсь. Я... я даже рад. Потому что теперь у меня есть отметина. И я не такой, как все. Я тоже — отмеченный. Тобой. Она смотрела на него. Не понимала. Он должен был ненавидеть. Должен был бояться. Должен был рассказать всем. А он стоял. И говорил. Что рад. Что отмечен. Что не такой, как все. Она не знала, что сказать. Не знала, что чувствовать. Она просто стояла. И молчала. — Я приду сюда завтра, — сказал он. — В это же время. Если захочешь. Просто поговорить. Я не буду... я ничего не буду. Просто поговорим. Ты не против? Она не ответила. Не кивнула. Не отказала. Просто смотрела. А он улыбнулся. Уголком губ. Криво. Из-за шрама. И ушёл. В темноту. Не обернулся. Она пошла домой. Медленно. Босиком. По тропе. Мокрая. С растрёпанными волосами. С прилипшей рубахой. И с чем-то внутри. Чем-то, чего она не знала. Что-то тёплое. Слабое. Как уголёк. Который почти погас. Но ещё тлеет. Она не знала, что это. Не знала, как назвать. Но оно было. И оно было — от него. От Борича. От того, что он сказал. От того, что он смотрел. Не на тело. В глаза. И от того, что он не боялся. Не ненавидел. Не хотел

зла. Он хотел — её. Просто её. Поговорить. Увидеть. Быть рядом. Она пришла домой. Отец спал. Она легла на лавку. Закрыла глаза. Но сон не шёл. Перед глазами стоял он. Его голос. Его слова. Его взгляд. И то, что он сказал. «Ты красивая. Под луной. Как будто не настоящая». Никто никогда ей такого не говорил. Никто никогда так на неё не смотрел. Никто никогда не хотел с ней говорить. Просто говорить. Без страха. Без жалости. Без ненависти. И она поняла, что хочет. Хочет пойти. Завтра. К реке. К иве. Увидеть его. Услышать его голос. Ещё раз. И это было — страшно. И любопытно. Одновременно. Она не знала, что это. Не любовь. Пока нет. Но что-то. Что-то, что она не чувствовала раньше. Что-то, что было — тёплым. И это тепло — пугало. Потому что она не знала, что с ним делать. И что оно может сделать с ней.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.